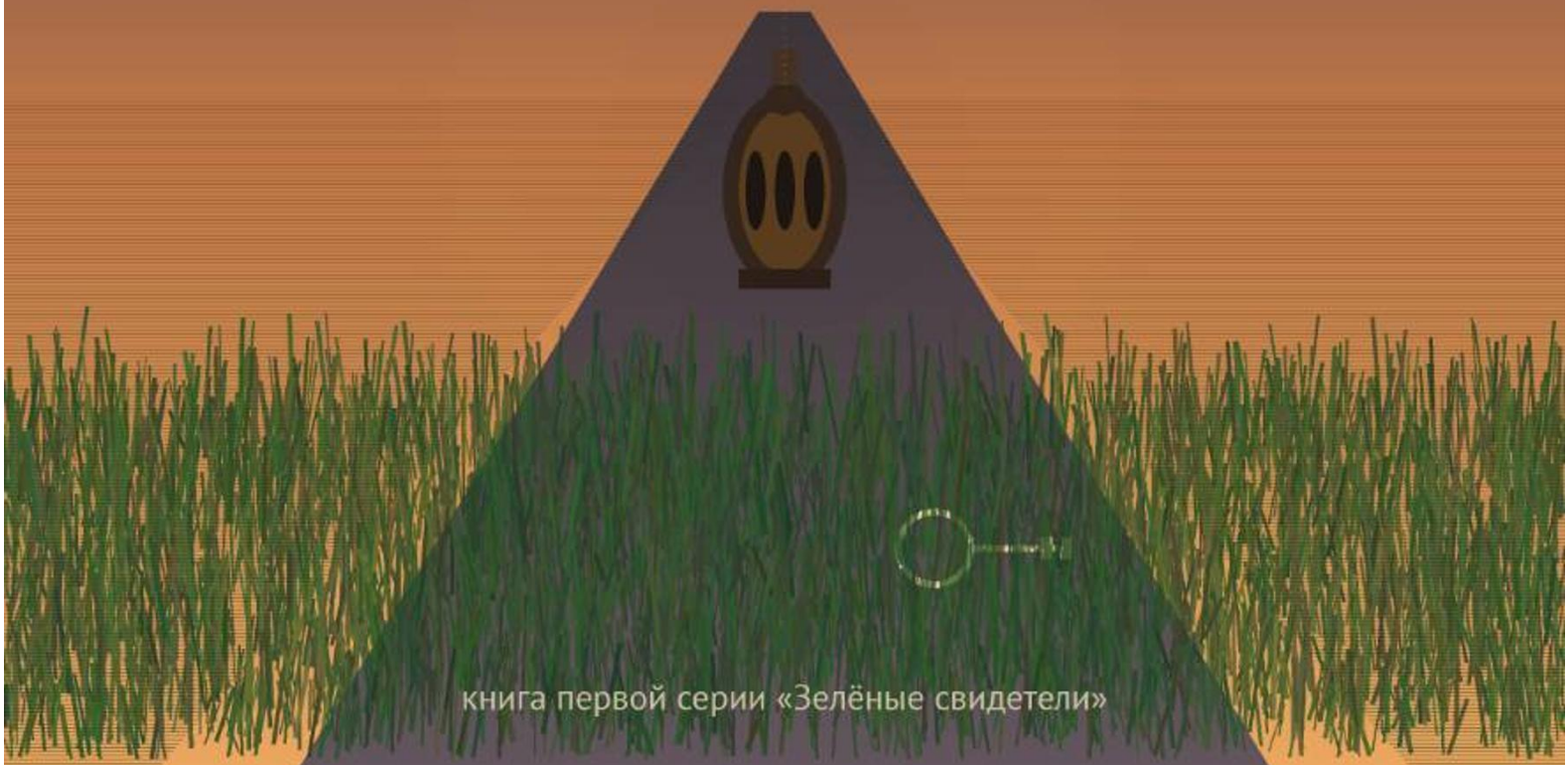
СЕРГЕЙ ЛОЗОВ

ЗЕЛЁНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Показания дают трава, сирень
и старый самовар

СОРВАННЫЙ САМОВАР

Иронический детектив • Магический реализм



книга первой серии «Зелёные свидетели»

Сергей Лозов

Сорваный самовар

«Автор»
2026

Лозов С. Ю.

Сорваный самовар / С. Ю. Лозов — «Автор», 2026

Следователь Настя Волкова ехала в отпуск к бабушке — а попала на слушание. В деревне Столбово растения дают показания: трава требует гонорар и работает объёмом, клумба орёт про сапоги, герань пишет мемуары, а берёза Прохор молчит — и в его молчании больше смысла, чем в паре протоколов.Обычная кража — самовар из пекарни — оборачивается делом, в котором следы ставят одинаковые сапоги сорок шестого размера, белая машина не глушит двигатель сорок минут, а в старых ведомостях кто-то чужой рукой пишет «свернуть по линии 14». Настя ведёт следствие двумя способами сразу: по УПК — и через бабушкин перевод с травиного, сиреневого и ольхового. Бабушка Лидия Петровна слушает всех с сорокалетним стажем; у Насти пока три месяца практики и тетрадь с реестром, где половина свидетелей не умеет расписаться.Дело ведёт от похищенного самовара — к колодцу, на дне которого с 1978 года лежит обещание, подписанное той самой серебряной ручкой. И чем ближе Настя к дну, тем яснее: в этом районе всё считают.

© Лозов С. Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ I. «Сорванный самовар» 5
ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой я познакомилась с зелёным народом, а народ со мной познакомился и потом ещё неделю это обсуждал 8
ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой трава дала показания, а гонорар взяла сразу 10
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, в которой появился Тамарин муж, а герань говорила через посредника с вкусом 12
ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой коллеги приехали, и помещение стало сытым 14
ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой Кузьмин получил мёд, а получил урок 16
ЧАСТЬ II. «Белая машина» 19
ГЛАВА ВОСЬМАЯ, в которой тополь вспомнил сорок минут, но вспоминал через переводчика 21
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, в которой бабушка пошла к шахте, а ольха сказала про замок главное 23
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, в которой гараж оказался почтамтом, а ведомость — письмом 25
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, в которой Марго приехала с коньяком и диагнозом для всего района 28
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Сергей Лозов
Сорваный самовар

ЧАСТЬ I. «Сорванный самовар»
ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой меня отправили в отпуск, а отпуск отправил меня к траве

Меня зовут Анастасия Волкова. Следователь районного отдела, капитан юстиции, восемь лет службы, из них три — на «отлично» и три месяца — на «зачем вы это открыли».

Отпуск мне выписала врач Стрельцова — женщина с голосом, которым объявляют остановки, — после того, как я за месяц довела до слёз двух подследственных (один был воррецидивист, но заплакал от натиска, второй — бухгалтер, и его даже не жалко), отправила на больничный участкового (он задремал на столе дежурного, а я разбудила его чаем, что сочли применением спецсредств) и уснула на собственном рабочем столе лицом в папку, из которой потом полчаса выковыривали скрепку.

— Истощение нервной системы, — сказала Стрельцова, глядя на меня, как на протекающий кран. — Куда едете?

— Домой. Лежать.

— Лежать вы будете между работой и работой. Езжайте туда, где нет ни телевизора, ни связи, ни желания работать. Есть такое место?

— Есть. Деревня Столбово. Бабушка.

— Прекрасно. Две недели.

Билет до Столбова стоил двести рублей и три часа жизни. Сосед в маршрутке вёз рассаду помидоров и объяснял, что рассада отзывчивая: скажешь ласковое слово — растёт, скажешь грубое — тоже растёт, но с обидой. Я вежливо кивала и не думала, что через несколько дней пойму его лучше, чем он сам.

Бабушка Лидия Петровна, семьдесят девять лет, окинула меня взглядом сапёра и вынесла заключение:

— Устала. Худая. Глаз дёргается. Заходи, у меня щи.

— Баб, я отдыхаю.

— Щи — это и есть отдых. У кого-то санаторий, а у нас щи.

Первый вечер я выспалась. Второй — объелась. На третий бабушка сказала: «Сходи в сад. Постой».

— Баб, зачем стоять в саду?

— Там ты никому не нужна. А в доме всем нужна. Отдых — это когда никому не нужна. Пойми это сейчас, чтобы в пенсию не переспрашивать.

Сад был старый: яблони, вишнёвый ряд, крыжовник с претензией на территорию и берёза, которой деревня гордилась больше, чем водопроводом. Я стояла. Дышала. Никому не была нужна. Секунд сорок — это был мой личный рекорд с восьмого класса.

И сквозь тишину — сухим, дребезжащим голосом — кто-то произнёс:

— Стоит. Дышит в три четверти ёмкости лёгких. Плечи как у человека, который много носит. Пора разгрузить, Лидия, а то раскачается раньше срока.

Я обернулась. За мной стояли бабушка, три курицы и реальность, которая никуда не собиралась деваться.

— Баб. Это ты сказала?

— Про «много носит» — не я. У меня носильщиков нет.

— А про палача?

— Я не говорила про палача.

— Ты уверена?

— Настя. Я свои мысли узнаю. У меня их сорок девять, я их все помню.

— Сорок девять — это мало.

— Это все нужные. Остальные — чужие.

Голос продолжал — неторопливо, как метроном:

— Она не слышит меня, Лидия. Она слышит тебя. Так у них в столицах: всё сквозь стекло.

— Бабушка, — сказала я ровно, потому что к ненормальным показаниям приучена. — Сколько лет ты разговариваешь с деревьями?

— Не разговариваю. Слушаю. Разговаривают они. Я просто делаю вид, что меня нет. С сорока лет. Когда похоронила деда и месяц говорила с вишней, потому что больше никто не слушал. Вишня оказалась толковой. На следующий месяц услышала и остальных.

— А если я не хочу этот дар?

— А кого это спрашивает? Он как телевидение: включился — и всё, сиди смотри.

— Мне бы программу на выбор.

— Программу тебе выбирать дадут через лет двадцать. Сначала смотри, что дают.

В ту ночь я спала как в детстве. А утром меня разбудил голос — тонкий, панический, надрывный:

— Пожар! В корнях пожар! Сволочи! Сапогами! Найдите их и объясните им!

Голос шёл от клумбы под окном. Клумба ругалась так, как ругаются люди, которых обокрали и обругали в одном лице.

— Баб! — я была на ногах раньше, чем открыла глаза. — В корнях пожар!

— Не пожар, — сказала бабушка из кухни, не меняя темпа, потому что от меня, видать, зависело мало. — Это клумба. У неё каждый год в июне кризис. Кто-то топчется — она орет.

— В смысле — топчется?

— В прямом. Клумба — это у нас самая пострадавшая структура. У неё нет ни стен, ни забора, ни заявления в полицию. Есть только крик и я. Я и есть её заявление. Иди спроси, кто топтался.

— Как спросить? У неё же... голос.

— У неё голос, да. Только спрашивать умеешь пока не ты, а я. Я — переводчик. Подойди и слушай, я буду переводить. Учти: перевожу, как поняла. Что клумба имела в виду — не знаю, я не клумба.

Так началась моя первая практика в следствии по делам растительным. Бабушка подходила к клумбе, наклонялась, слушала — издалека со стороны это выглядело как бабушка, изучающая сорняк, — и переводила:

— Кто топтался — она не знает. Она ночью спала. Но она видела... то есть чувствовала, что на неё надавили через соседскую грядку, а значит, топтался тот, кто ходит через грядки, а такие в деревне двое: сантехник Володя, который ходит к соседям через забор, чтобы не мочить ноги, и Толя с пивной, который вообще не ходит, а сносится.

— Это всё?

— Нет. Клумба требует вскрыть сапоги и предъявить содержимое.

— А почему ты говоришь «она видела»?

— Потому что я так услышала. Я тебе же говорю: перевожу, как поняла. Клумба не видит, клумба чувствует сапог. А «увидела» — это уже моя редактура. У меня вкус.

Я записала в первый попавшийся листок:

«Свидетель: клумба. Показания: о сапогах. Доказательств: ноль. Субъективность: полная. Переводчик: несертифицированный, с собственным вкусом. Юридическая ценность: не признаваемая судом».

— Баб, а зачем это мне? Это же не показания. Это... это набор подозрений с бабушкиной интонацией.

— А ты не торопись. — Бабушка вернулась к щам. — Сейчас у тебя один источник. Слабенький. Лет через пять — двадцать пять источников, и каждый будет требовать, чтобы его называли «уважаемый». Вот тогда вспомнишь мой вкус.

— Баб, а почему я слышу только клумбу? И траву? А кусты — нет, деревья — нет?

— Потому что ты пока слышишь только улицу. — Бабушка помешала щи, и в кухне стало пахнуть так, что вопрос про источники временно потерял приоритет. — Трава — это улица. Она кричит со всех дворов сразу, обо всех и всегда. Это младшее звено. Кусты говорят тише и с подтекстом — до них надо дорасти. Деревья — это профессора. С профессорами разговаривают, когда выучат буквы. Ты сейчас на слогах. Слоги — это клумба и трава. Будешь страдать лет до сорока.

— Почему до сорока?

— Потому что я до сорока дошла. Может, ты быстрее. Может, быстрее не надо: у меня в сорок первый начались соседи.

— Какие соседи?

— Все. Сорок лет идёшь — и все слышат тебя.

Так мой отпуск закончился в шесть утра третьего дня. А вместо него началось нечто, что не подпадало ни под одну статью, которую я знала. Единственное, что я знала точно: у меня в деревне появился единственный осведомлённый источник. Трава. И трава — судя по первому утру — была свидетель с приписками.

Второе я узнала позже: настоящие показания в этом деле дала не она.

Но об этом — вовремя. А пока в шесть сорок утра я стояла над клумбой, на которой кто-то, по её глубокому убеждению, надавил сапогом, и записывала показания, которые юридически не существовали, потому что свидетель не умела расписаться, а следователь не умела объяснить, почему она слушает огород.

ГЛАВА ВТОРАЯ, в которой я познакомилась с зелёным народом, а народ со мной познакомился и потом ещё неделю это обсуждал

Ориентируемся, как положено в следствии.

Деревья — это профессора с сорокалетним стажем. Не врут. Не спешат к пользе. Не разговаривают со мной вообще — я слышу от них только «гул», ровный, низкий, как дальняя электричка. Слышу — и не понимаю. Бабушка слышит их всех, но переводит неохотно: «Профессора — это себе дороже. Ты пока с улицей ходи, улица ничего не решает, зато болтает».

Так у нас распределение ролей сложилось само, без приказа: я слушаю улицу, бабушка — всех, а между ними между всеми — её вкус.

Кусты — среднее звено: характер есть, дисциплины нет. Крыжовник Кеша не говорил со мной ни слова — я слышала от него ровно то, что слышала от деревьев: «гул». Но гул у Кеши был другой — с утра и до вечера, как качели без качающегося. Бабушка слушала Кешу и переводила со скукой:

— Кеша ругается. Тля. Он от тли страдает, и я каждый день это выслушиваю, потому что в этом саду меня никто не спрашивает.

А цветы и трава — бандитский квартал. С этим кварталом я разговаривала лично и без переводчика, потому что квартал разговаривал сам.

Тюльпаны орали друг на друга по утрам. Ромашки сплетничали — то есть я слышала их фрагментарно, обрывками, и среди обрывков встречались имена, о которых я потом дважды пожалела. Трава у обочины вела себя как подростки во дворе: обзывалась, подкалывала и стригла зубами корней чужие сапоги «чтобы столичные знали, где ходят».

С травой я познакомилась по-настоящему в четверг, когда бабушка отправила меня к пекарне за мёдом — и трава у обочины открыла мне свою программу.

— Столичная! Слушай! — крикнула она ещё до того, как я перешла дорогу. — Ты меня знаешь? Я тебя знаю! Ты — та, что у Лидии Петровны! Я тебя запомнила по походке! Ты ходишь, как будто тебе в следствии доказывать, что ты дома! А ты дой до конца обочины, там у нас деревенские новости, всё как надо!

— Трава, я тебе не столичная. Я внучка Лидии Петровны.

— А я тебе не трава! Я — площадь! Площадь села Столбово! У меня весь район слышен! Про меня в семидесятом писали в районной газете «обочина требует благоустройства»! Я до сих пор его требую! Гонорар за два часа слушания — формулировка, «трава говорила громко, но по существу»!

Я двигалась — траву слушают на ходу: стоишь, она умолкает, как будто выключили радио. Прошла пекарню мимо, обошла с задней стороны, тихо открыла калитку. Тамара в этот момент пела с внучкой по телефону, то есть охраны ноль.

Отпечатки на земле были. Глубокие, от сапог, сорок шестого размера. Сапоги — не улика, сапоги — примета.

И чуть в стороне — белая крапинка, полуразрушенная: как от того, что было бумагой и намокло.

Я — следователь. С отпечатками я знаю, что делать: сфотографировать, отметить время и обстановку. Это я сделала на бабушкин телефон, который в обед вынесла из-под банок под предлогом «позвонить маме». А потом спросила себя: а с кем я разговаривала по дороге? Ответ: с травой. Травы в протокол не внесёшь.

Тут и разгорелась та самая война, которую ведёт каждый, у кого дар не совпадает с УПК: между тем, что ты знаешь, и тем, что можешь доказать. Я стояла на заднем дворе с фото отпечатков и с показаниями травы, которых юридически не существует. Трава шептала сзади:

— Уходи! Увидят — Тамара испугается и ничего не скажет! Я тебя предупредила — «предупредила трава» — вот это в протокол не пишешь, но за это формулировку попозже!

Да и я не при исполнении — в отпуске. И я ушла.

Вечером я разложила перед бабушкой всё, что имела.

— Вот четыре признака. Сапоги, краска, пакет, крапинка. Что с ними делать?

— Ничего. Это не факты, это признаки. Факты — это то, что видела собственными глазами. Прикреплённое к письму — это письмо. Признак — это приглашение к проверке. Пойдёшь проверять — найдёшь факты. Не пойдёшь — останутся признаки. А с признаками в следствии живут только до пенсии.

— Баб, а трава?

— Трава — это то, что у вас называется «слух». И слух, Настя, работает так: врёт в девяти случаях из десяти, а в десятом — говорит правду, но уже никому не верят. Поэтому с травой у тебя два пути: либо проверяй каждое её слово руками, либо не слушай вообще. Слух нечитанный — это то же самое, что свидетель, которому не задали вопросов: он всё равно расскажет, только уже никому не надо.

— А если я не пойду проверять?

— Пойдёшь. Ты из восьмилетнего стажа. У вас, у стажистов, руки сами идут проверять. Я в этом убедилась: у деда так же было.

— Баб, дед был... кто?

— Сапёр, — сказала бабушка с той интонацией, с которой говорят о дедах. — Он тоже всё проверял. Правда, проверял руками в земле, а не руками в жизни. Это у нас в семье профилактика.

— Баб, а зачем мне трава, если она врёт?

— Затем, что она не врёт, когда кричит со страху. — Бабушка поднялась от щей, потому что для этого ответа нужен был прямой взгляд. — У травы враньё всегда с налётом самопиара. А вот страх — нет. Когда трава боится, она кричит без гогота, без «столичная», без гонорара. Голым криком. Тогда слушай в оба уха и беги смотреть. Трава, которая боится, — это у нас в деревне сигнализация. Деревня в целом — глухая, а у травы уши. Только трава и молчание, дочка. Разные звенья.

Я записала.

И на всякий случай ещё одно, бабушкино, тоже:

«У меня, у переводчика, есть вкус. Мой перевод — это моя редактура. Не принимай мою редактуру за показание. Принимай за мнение бабушки, у которой были соседи сорок лет».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой трава дала показания, а гонорар взяла сразу

В субботу я вернулась к пекарне, чтобы проверить, что из четырёх признаков останется, а что нет.

По дороге трава вела себя как продавец на рынке, который узнал постоянного клиента и уже подсчитал выручку:

— Столичная! К тебе идёт мой клиент! Слушай! Ночью у Тамары был посетитель! Ночной! В резиновых сапогах! Размер сорок шесть — я лежала под сапогом, я знаю размер сапога, как редактор знает формат! Он не за хлебом! В задний вход! Руки пахли краской, в куртке — пакет, пакет с чем-то круглым! Шёл тяжело, как человек, который несёт не сумку, а совесть! А потом ушёл — и стал лёгким! Понимаешь? Стал лёгким — значит, выкинул что-то или оставил!

— Трава, — сказала я на ходу. — Ты говоришь так быстро, что я записывать не успеваю.

— Записывай! Я повторю! Двадцать раз! Мне не жалко, у меня снаружи всё есть! — И добавила с гордостью: — А в конце скажешь: «трава говорила громко, но по существу». Это моё. Мне за это слава обещана! Пацанам! С обочины!

— Трава, я тебе обед обещала за наводку, которая подтвердится. Наводка не подтвердилась.

— Это была предоплата! Предоплату не возвращают! Это в вашем законе прописано, я слышала, юрист громко по телефону говорил!

— Трава, за что ты взяла предоплату?

— За то, что я наводку дала! А то, что она не сработала, — это уже не моя зона ответственности. Я наводку даю, а срабатывание — это ваша работа! Так у вас же тоже: я заявление пишу, а ты семь недель его рассматриваешь!

Я шла мимо и думала, что в следствии у меня теперь есть два вида показаний: человеческие, которые добываются неделю, и травяные, которые идут сами — с гонораром, с хулиганством и с той долей правды, которую надо выковыривать, как скрепку из папки. Второй вид был дешевле и чаще. Первый — точнее.

Я открыла калитку пекарни. Тамара в этот момент считала выручку и вздыхала на каждой купюре, как вздыхают над старым знакомым. Услышав моё «здравствуйте», она вздохнула ещё раз, глубже, и сказала:

— Заходи. Чайку? Пирог с мёдом?

— Мне бы правду.

— «Правду с пирогом или без?»

— Сначала правду.

— Тогда без пирога. Пирог будет, когда скажешь, что делать.

И за чаем, без пирога, Тамара рассказала то, о чём трава кричала с обочины с утра: про ночного гостя, про сапоги сорок шестого, про пакет с чем-то круглым.

Улика: четыре признака от травы (сапог, краска, пакет, крапинка). Что это даёт: направление поиска. Важность: направление — не доказательство. Направление — это то, что экономит следствию недели. Проверка: сапоги — примета, краска — запах, пакет — Тамара, крапинка — уже сфотографировано. Вывод: у меня есть направление и ноль доказательств. Действие: проверить всё руками. Траву поблагодарить. Гонорар отдать позже — после подтверждения.

Я отошла от пекарни на два шага и сказала траве:

— Наводка подтверждается. Всё есть.

— Всё есть?! — трава аж звенела от гордости. — Я тебе говорила! Столичная! Я тебе говорила с самого начала!

— Трава. Ты говорила двадцать раз. Девятнадцать — про себя, один — про гостя.

— Ну и! — трава не смутилась ни на секунду. — Один раз — это уже про гостя! Я работаю объёмом! У меня план!

И тут я поняла то, что бабушка сформулировала бы как «дошла»: у травы враньё и правда идут не поочерёдно, а вперемешку, как костюм, в котором правды девяносто процентов, а остальное — украшение, которое сам свидетель считает обязательным. Учитывая это, я записала в реестр (тетрадь, о которой расскажу позже) первую строку:

«Трава. Надёжность: сорок процентов. Гонорар: формулировка, предоплата, обед. Работает объёмом. Правду даёт вперемешку с самопиаром — отделить можно по запинке: правду говорит сбивчиво, враньё — гладко и с гордостью».

А вечером бабушка выслушала мой отчёт и сказала:

— Хорошо. Теперь главное. Ты сегодня траву слушала и траву проверила. Это правильный порядок. Только запомни, дочка: тебе кажется, что ты слушаешь траву. А на самом деле трава слушает тебя. Она каждый твой шаг по обочине записывает в свой реестр — куда ты идёшь, к кому, с какой скоростью. Ты для неё — тоже свидетель. И показания ты ей даёшь чаще, чем она тебе.

— Баб, зачем траве мои показания?

— Затем же, зачем тебе её. — Бабушка накрыла щи крышкой. — Чтобы знать, где в деревне что происходит. Тебе интересно, кто сапог. Ей — интересно, кто ходит по обочине. Обе структуры ведут следствие. Только у тебя протокол, а у неё гонорар.

Так закончился мой третий день в Столбово. Из четырёх признаков три подтвердились. Один — крапинка — дал новое направление: бумага, которая намокла и полусгнила на заднем дворе. Бумага с чем-то, что до этого лежало в самоваре.

Об этом — дальше.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, в которой появился Тамарин муж, а герань говорила через посредника с вкусом

Тамара рассказала всё, и рассказ был короче, чем её пироги получались вкусными.

Муж у неё — Сергей, бывший дальнобойщик, «дали вниз, а вниз не было». Играл в карты с мужиками из соседнего Сосново, проигрывал. Неделю назад брал кредит — девяносто тысяч — чтобы закрыть картёжный долг. Пекарня зарегистрирована на Тамару, и она знала почему:

— Если зарегистрировать на него — он проиграет и пекарню, и меня, и бабушкину гордость. Бабушкина гордость — это отдельная статья расходов, между прочим. Она в моей пекарне как акционер: без дивидендов, но с правом совещательного голоса по любому вопросу.

В ночь на пятницу в задний вход вошёл человек в резиновых сапогах. Не ударил, не кричал. Взял ящик с мёдом, самовар — и вышел. Тень Тамара видела, лица — нет. И главное — узнала сапоги.

— Это его сапоги? — спросила я.

— Мои, — поправила Тамара. — Он взял их с крыльца, из кладовки. Он прошёл в моих сапогах, чтобы следы, если я их найду, были мои. Он не грабил меня, Настя. Он приходил за бумагой. За той самой, из самовара.

— Какой бумагой?

— Той, которую он держал как страховку. Сергей знает про кражу на складе в Сосново. Четыре года назад. И с тех пор живёт тихо, потому что в самоваре лежит его страховка. А теперь страховки нет — самовар ушёл.

Я записала всё, что полагается по УПК, и задала единственный вопрос, который не полагается ни по какому:

— А герань у тебя что-нибудь слышала?

Тамара посмотрела на меня так, как смотрят на следователя, который перешёл на шёпот без причины, и ответила осторожно:

— Герань? Да как вся герань — стоит и зелёная. Ты чего спрашиваешь?

— Смотрю на улики, — сказала я. — У вас подоконник южный, солнце. Герань при солнце лучше видит.

Это был наглый блеф, но у блефа в следствии тоже есть статус: вспомогательное средство, не вошедшее в протокол.

Герани на подоконнике, разумеется, молчали. К цветам в комнате я ещё не доросла — бабушка была права, я слышала пока только улицу и клумбу. Но я знала теперь и другое: с сорока лет у бабушки — слух на всех. И бабушка наутро пошла к Тамаре за мёдом. Официально — за мёдом. Фактически — на допрос.

Вернулась она за полдня. Поставила банку на стол, сняла платок и сказала:

— Ну, слушай свидетельские показания. В изложении переводчика.

— Баб, ты нашла банку?

— Банку не искала. Баба не обыскивает, баба слушает. — Она села, как садятся для важных вещей. — Герань у Тамары — старая, толстая, лет пятнадцать на том подоконнике. Мемуаристка, не свидетель. Она рассказывает не события, а то, как она их видела из своего горшка. И рассказывает она долго. Я три часа просидела за чаем, чтобы дослушать.

— Три часа?

— У мемуаристки темп свой. Ты бы ещё спросила у следствия, что три часа — это долго. У герани три часа — это вежливость. Меньше сидишь — считай, нахамила.

И бабушка перевела. Медленно, с паузами, потому что, как она предупредила заранее, «перевожу, как поняла, а поняла — с припиской, приписка — мой жанр»:

— Дверь скрипнула в четыре утра. Скрип краденый: так скрипят те, кто открывает дверь и тут же её прикрывает. Человек прошёл мягко. Герань говорит: «Мягкая поступь бывает у вора и у отца. Этот шёл как отец, у которого отец кончился, а работа осталась». Дальше — он открыл нижний ящик с соленьями. И закрыл. Не тот ящик. Рука дрогнула.

— Рука дрогнула? Герань видела руку?

— Герань не видела, герань слышала. Слышала, как человек замер. Замер — это, по-гераниному, рука дрогнула. А уже «рука дрогнула» — это я перевела. У человека, который боится ошибки больше, чем наказания, — такие потом делают ошибки сознательно, — заминка слышна даже герани. Дальше он взял самовар и вышел. А банка осталась. В нижнем ящике, где соленья. Банка с мёдом. И в мёде — то, за чем он шёл.

— Баб. А откуда ты уверена, что он не проверил верхний ящик? Что он ищет именно банку с мёдом?

— А потому, что герань добавила: он нюхал. Открывал ящики и нюхал. Искал не на глаз — по запаху. Как ищут то, что знали раньше и забыли, в каком углу. Он помнил, что бумага в банке. Но не помнил, в какой банке.

Я прогнала по цепочке, как учили, — уже с учётом того, что показание пройдено через двойной фильтр: память герани и вкус бабушки.

Улика: показание герани в пересказе бабушки о банке в нижнем ящике с соленьями. Что это даёт: место хранения бумаги. Метод поиска — по запаху, значит, гость знал о бумаге, но не знал о её перемещении. Важность: показание получено через переводчика, но проверяется руками за пять минут. Двойной фильтр с быстрой проверкой — лучший вид показаний, каким бы ни был первый фильтр. Проверка: открыть нижний ящик. Я открыла. Банка была. Бумага была — сложенная вчетверо, промасленная от мёда, с синей печатью. Вывод: это не кража для себя. Это изъятие страховки. Действие: бумагу не отдавать никому, кроме прокурора. Гостя — в поле зрения.

Вечером я спросила у бабушки то, что крутилось с самого допроса:

— Баб, а почему герань заговорила с тобой, а со мной — нет? Я же сидела в той же комнате. Я извинилась перед ней. Тихо. В уме.

— В уме извиняться гераням бесполезно, — сказала бабушка без тени насмешки. — Они это не слышат. Они слышат вслух или не слышат вовсе. А заговорила она со мной потому, что я старая. С мемуаристками надо быть ровесницей: я ей про девяностые пару слов сказала — она ожила. Ты ей про девяностые скажешь — она уснёт. Свидетель выбирает слушателя, дочка, как пациент выбирает врача. Это не обидно. Это устройство мира.

— И когда я дорасту?

— Дорастёшь. Только, чур, одно условие. — Бабушка подняла палец, которым у нас в семье давали клятвы, инструкции и приказы о выселении из дома за непомытые кружки. — Когда дорастёшь и начнёшь слушать всех сама — не забрасывай старых слушателей. Герань, которая тебе однажды открылась через меня, должна остаться в реестре. Она тебе ещё пригодится. Мемуаристы долго живут, у них хорошая память на тех, кто сидел три часа.

ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой коллеги приехали, и помещение стало сытым

Заявление о краже, разумеется, было уже написано — Барабановым, участковым из Столбово, человеком, для которого слово «протокол» было руганью, а «служебная записка» — приговором.

— Настя, — сказал он по бабушкиному телефону с проводом. — Тут у нас инцидент. У пекарни стекло побито, мёд и самовар унесли. Тамара говорит, видела тень. Тень — это, Анастасия, не основание для следствия.

— А у нас в селе — основание.

— Ты на месте, ты с чутьём. Глянь глазами.

Я позвонила Крылову. Он выслушал, помолчал и сказал фразу, которая перевернула мой отпуск:

— Отпуск отменяется. Приказ летит. Следственная группа в Столбово, ты — старшая группы. Расквартирование по месту происшествия. То есть…

— У бабушки.

— У бабушки. С суточными, с удостоверением и с правом на подпись. И, Волкова, — тут он помолчал так, что я услышала, как в его кабинете в городке у кого-то за стеной капает кулер, — что у тебя с источниками? Рапорт у тебя странный. «Гражданские источники, пожелавшие остаться неизвестными». Кто это?

— Хорошие источники, товарищ полковник. Дают наводки, наводки подтверждаются.

— Деревенские?

— Сельские.

— Волкова. Я тебя знаю. У тебя лицо, когда ты чего-то не говоришь. Я это лицо уже один раз видел — в деле о поджигателе сараев, где ты три недели говорила «гражданский источник», а источником оказалась соседская собака, которую ты подкармливала колбасой.

— Собака не была источником. Собака была эскизной собакой.

— Вот именно, что я это помню. Так что слушай распоряжение, оно короткое. Работай. Но в рапортах пишешь: «оперативно-следственные мероприятия» и «установленные обстоятельства». Слово «трава» не употреблять. Звучит двояко.

— Никогда, товарищ полковник. Будет: «гражданские источники, пожелавшие остаться неизвестными».

— Это я уже слышал. Придумай лучше.

— Будет: «установленные обстоятельства».

— Вот это уже похоже на следствие.

Группа приехала во вторник. Первым был старший лейтенант Черкасов — лавелас. Когда он заходил в помещение, помещение ощущало себя голым. У Черкасова были глаза, которые поднимались на два сантиметра после двух комплиментов, и бровь, тренированная в зеркале. Он был красив, избалован и в работе честен, потому что «честность — это когда в кармане пусто, а ты не вор».

Вторым был майор Толя Солодов — обжора. Человек с самой быстрой реакцией за столом и самой медленной на месте происшествия. Он знал все закусочные района и, когда заходил в помещение, помещение ощущало себя сытым. Трижды женат («но первая не считалась, потому что первая») и при этом самый добрый оперативник: он мог рассказать подозреваемому всё, что знал, и получить всё, что хотел, потому что подозреваемый не мог устоять перед тем, как Толя рассказывал ему, что тоже ел в этой закусочной.

Третьим был старший лейтенант Дёмин — азартный неудачник. Играл во всё, на что можно ставить, проигрывал всё, но не отчаянно — с фаталистическим спокойствием человека, который выиграл однажды и теперь ждал.

Они ждали меня на месте, как ждут гостей, которых не заказывали.

— Мёд — это валюта в этих краях, — сказал Черкасов.

— Мёд — это улика, — сказала я.

— В пакетах?

— В банках. В нижнем ящике с соленьями. И я знаю, за чем приходил ночной гость.

— Откуда? — поднял бровь Черкасов. — Ты только что приехала.

— По собственной инициативе. Есть источник, с которым не могу поделиться.

— Деревенский?

— Сельский.

— Настя, — сказал Черкасов, оглядывая бабушкин двор с подозрением, на которое у меня ушло три секунды, чтобы понять: он не про бабушку. Он про огород. — У тебя не телеграмма?

— Нет.

— А то у нас в отделе шла легенда, что у тебя в Столбове осведомитель. Под этим грифом мы уже спорили: Барабанов ставил на голубей, кума — на соседей, а я — на голубей, которые сидят на соседях.

Дёмин достал телефон и поставил: «Ставлю двести рублей, что источник — старушка».

— Ставка выиграна, — сказала я.

— Ставка выиграна, — сказал Дёмин с фаталистическим спокойствием. — Старушка — это обобщение. В обобщение входит всё, что старше сорока. И кусты сирени, кстати, тоже. У них возраст неизвестен.

Я не ответила, потому что отвечать было опасно: сирень и правда была старше сорока.

Бабушка накормила группу щами и провела классификацию по тарелкам, как следователь — по почеркам:

— Черкасов — нахваливает и не доедает. Толя — молчит и доедает дважды. Дёмин — подозревает, что у меня в щах следственный интерес, и прав.

Вечером, когда группа разошлась по раскладушкам, бабушка прошептала мне в кухне:

— Дочка. Твой полковник — толковый. Он тебе не поверил ни разу и ни разу не сказал об этом вслух. Это высший пилотаж следствия. Такому и дар бы не помешал, а дар ему и без надобности.

— Баб, откуда ты знаешь, что он не поверил?

— Я его слушала. За столом. У меня, дочка, сорок девять мыслей и сорок лет слушания. Полковник не поверил в старушку. Он поверил в тебя. Это, между нами, полезнее.

ГЛАВА ШЕСТАЯ, в которой Кузьмин получил мёд, а получил урок

Картину сложил Дёмин. Он играл в тех же кругах, что и Сергей, и считал профессиональной необходимостью знать, кто кому должен.

— В Сосново была партия, — сказал он. — Сергей закрыл её с долгом в девяносто тысяч. Кредит в Сбербанке он брал ровно на эту сумму — я проверил через знакомого. Но деньги в долг ушли не из банка. Их дал Кузьмин — тот, что с заправки, нос с горбинкой. И у Кузьмина есть свой куратор, которому он отчитывается. По пятницам.

— А что за куратор? — спросил Черкасов.

— Не знаю. Но долг Сергея Кузьмину — не деньги. Кузьмин дал денег на переоформление машины, машина умерла, долг остался. А вот что куратору должен Кузьмин — это и надо узнать.

Кузьмина взяли в пятницу, в шесть утра, у автозаправки. Он вёз в багажнике двадцатилитровое ведро — липовый мёд с мятой, тот самый, который унёс из пекарни. Кузьмин был мужиком суровым, с лицом, у которого не было эмоций, потому что эмоции он хранил в багажнике.

Кузьмина я допрашивала в «штабе» — то есть в бабушкиной горнице, потому что другого помещения у следственной группы не было, а бабушка за аренду взяла «дрова и чтоб порядок был». Дрова она взяла. Порядок она не гарантировала.

Кузьмин сидел ровно, руки на коленях, как человек, которого допрашивали уже в жизни раз двадцать и который вынес из этого главное: сидеть ровно. Я задавала вопросы по протоколу, он отвечал по протоколу, и всё шло бы гладко, если бы не Толя, который подлил ему чаю.

— Сахар? — спросил Толя.

— Нет, — сказал Кузьмин. — Я сладкого боюсь.

— Как это — боитесь?

— Так. Возьму ложку — и потом не остановлюсь. У меня всё так: возьму ложку, возьму машину, возьму мёд. Слова разные, а механика одна. Поэтому я без сахара.

Это было первое живое слово за сорок минут. Я отметила его в тетради: «подозреваемый мыслит механикой: не „хочу“, а „возьму, и потом не остановлюсь“. Люди с такой механикой не планируют преступление — они с него не успевают выйти».

— Кузьмин, — сказала я. — Ты вёз ведро мёда. Кому?

— Себе. Мёд — это отдых.

— Двадцатилитровое ведро мёда — это не отдых. Это грузовой рейс.

— Ну вот, — вздохнул Кузьмин с неожиданной грустью. — Вы следователь, а говорите по-человечески. Мне легче сразу сдаваться, чем врать человеку, который по-человечески.

— Тогда рассказывай.

И он рассказал. Не всё сразу, а как отдаёт долг: по ложке, с паузами, глядя в чай. Про склад, про кражу, про подписку о молчании, про то, что бумага была его страховкой и что страховку он держал не в сейфе, а в самоваре — «потому что в сейф к себе не полезу, я себе не доверяю».

— А кто велел забрать бумагу? — спросила я.

— Куратор. — Кузьмин посмотрел на чашку. — Скажу, как есть. Она не кричала. Никогда. Она называет цифры. И когда она называет цифры, всем становится холодно. Не потому что страшно. Потому что всё по ней сходится.

— Что сходится?

— Всё. Если она сказала «пятница» — значит, пятница. Не потому что она начальник. А потому что всё у неё уже посчитано, и ты только опоздать можешь.

Я записала и подумала: я многих допрашивала — кричали, плакали, молчали, угрожали. А этот боялся интонации. По-настоящему, до пота, боялся не срока — ровности.

Дёмин тем временем развлекался, как умел:

— Кузьмин, а я поставлю. Двести рублей. Что твой куратор — мужик.

— Ставь, — сказал Кузьмин. — Проиграешь. Куратор — это не мужик и не баба. Куратор — это телефон. С телефоном не спорят, телефону не говорят «добрый день». Телефон говорит, а ты уже записан.

Кузьмин вышел — его повели оформлять. А через десять минут ко мне во двор вышла трава с обочины. Голос у неё был севший, деловой, без «столичной»:

— Капитан. Предоставляю дополнительную информацию по факту ведущегося следствия. Бесплатно. Не благодарите.

— Трава. Ты села слушать допрос?

— Трава не села. Трава лежала под окном. У вас форточка скрипит, и скрип этот я знаю, как бухгалтер знает свой расчётный счёт. А вообще я пришла за сличением показаний. Вы Кузьмину сказали «бумага осталась в банке»?

— Не совсем.

— А вот я слышала другое. Слышала, как он утром ведро грузил. Он с ведром разговаривал. Говорил: «Ну что, брат мёд, погнали». Это, значит, к ведру он с нежностью. А по самовару, значит, скучал. Человек с ведром на «брат» и без сахара в чай — это человек, который подсчитывает свою жизнь и всё время выходит в минус. Куратор, значит, его подмяла. Так я рассуждаю. Столичная, внеси в реестр: «трава дала психологическую экспертизу». Гонорар — как уговорено.

— Ты взяла предоплату за наводку, которая не подтвердилась.

— Наводка о тракторе? — Травино достоинство встрепенулось. — Так она подтвердилась! Трактор был! Сено было! Другой вопрос, что сено было настоящее, но трактор-то был! Я ничего не сказала про сено — сено придумали вы! Я сказала: «трактор возил сено»! Разве нет?

Я перечитала свою запись. Трава, действительно, сказала «трактор возил сено». Сено — придумала я сама, по ассоциации. То есть показание было, а наводку я себе слямзила.

— Трава, — сказала я со вздохом. — Признаю. Показание — твоё. Наводка — моя. Гонорар твой.

— Записывай и не спорь! — трава отзвучала довольная, как комиссар на празднике. — И вот ещё что, капитан. Про Кузьмина. Он плохой. Но несчастный хуже, чем плохой. Таких надо не сажать, а от куратора отцеплять. Хотя что я вам говорю. У вас схема: сначала посадить, потом понять.

И ушла, унося с собой гонорар формулировкой, которую я ей честно дала в реестре: «трава дала психологическую экспертизу по делу Кузьмина».

Дело закрылось за две недели. Кузьмин получил срок, Сергей — предупреждение, Тамара — пекарню, а я — репутацию «следователя, который работает по собственной инициативе и выигрывает».

Но, закрывая дело, я села и подумала: посадили исполнителя. Заказчик остался на свободе. И я ещё не понимала, как далеко меня это заведёт.

Склад в Сосново. Объект, о котором молчал Сергей.

А вечером бабушка спросила, не глядя от щей:

— Что трава сказала?

— Ты слушала.

— Я слушаю всегда. Но мне интересно, что ты услыхала. Ты, дочка, сегодня сделала шаг: признала перед травой свою ошибку. Это дорого стоит. Растения такое запоминают надолго.

С этого дня у тебя будет репутация у травы, а у травы — привязанность к тебе. Не перепутай, что из этого опаснее.

ЧАСТЬ II. «Белая машина»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ, в которой муж Ирины пропал, а командировка продлилась

Всё случилось в пятницу, в девять вечера. Девять вечера в отделе — это не время, а состояние души. Отдел, к слову, пока располагался у бабушки: штаб из трёх столов, радио и вечного запаха пирожков. Бабушка называла это «следствие на постое» и брала за него дровами, потому что «деньги с родной внучки — это уже не аренда, это предательство».

Телефон — бабушкин, с проводом — звенел так, будто звонивший держал за него личную обиду.

— Настя? — голос Барабанова. — Не спишь?

— Сплю. С телефона.

— Слушай бодро. У Ирины — той, что с сиренью у забора, — муж пропал. Три недели как. Она позвонила мне и сказала: «Женя, я мужа больше не жду, я его теперь ищу». А это, Настя, два разных юридических состояния.

— Заявление есть?

— Есть. И оно лежит в папке «Пропавшие (обычные)».

— А какие бывают необычные?

— Которыми ты занимаешься, — сказал Барабанов с чувством. — До тебя я её даже не открывал, знал, что внутри пусто, пришлось завести.

Пропавшим был Виктор Ильич Гусев — кладовщик овощебазы «Сосновская», пятьдесят два года, тихий, аккуратный, в пивную ходил не пить, а «смотреть». И — я узнала это по ходу дела — тот самый кладовщик, при котором четыре года назад случилась кража на складе, о которой молчал Сергей.

Я позвонила Крылову.

— Товарищ полковник. Пропал человек. Три недели. И это тот самый склад.

— Заявление есть — значит, занимаются участковые.

— Товарищ полковник. Первый вывод сделан… сделаны установленные обстоятельства. В ночь пропажи за домом Виктора стояла белая машина и не глушила двигатель. Если человек вышел сам, а машина ждала — это не гуляние. Это организация. И эта машина — та же, что привозила Кузьмину мёд.

Я сама услышала, как «сделана» у меня заикается, — приучаюсь говорить о свидетелях во множественном числе, чтобы не оговариваться. Крылов, к счастью, говорил по своим делам и не слушал мой род.

— Хорошо. Приступай. Командировка продлевается — официально. И, Волкова… не спускайся одна в подземелья. И не упоминай в докладах то, что ты мне сейчас едва не упомянула.

— Никогда, товарищ полковник.

Утром трава встретила меня у калитки уже деловым тоном — гонорар она стребовала накануне, вечером, и теперь работала предоплаченной, что на неё не похоже и потому подозрительно:

— Капитан! Слушай, и без «столичной», у меня сегодня серьёзный день! Белая машина! За домом Виктора! Двигатель не глушила! Я лежала, я чувствовала выхлоп — тёплый! Двигатель тёплый — значит, работающий! Час — тёплый! Потом человек вышел — тихий, опирался на калитку, как на решение! Сел! Уехал! А через два дня он вернулся — пешком! С двумя сумками! Обе тяжёлые! Я видела... то есть слышала, как ремни скрипели! Тяжёлое скрипит ниже лёгкого, это физика, у меня корни в физику врастают!

— Трава. Стой. Ты в ту ночь была за домом Виктора? Это не твоя обочина. Твоя — на выезде.

— Я тут не одна! — трава набрала воздуха, и стало ясно, что сейчас будет перечень. — Мы — газон! Я, осока, мятлик, два спорыша и клевер, который считает себя газоном, хотя клевер — это гордость отдельная! У нас дежурство! По графику! График составил мятлик, он у нас за старшего, потому что самый глупый, а глупых на дежурство не жалко!

— Трава. Скажи главное, а перечень потом.

— Главное! Он вышел сам! Никто его не тащил! Я слышу, когда человека тащат — трава скребёт, человек шаркает! Он шёл ровно! И он вернулся с сумками сам! Это не похищение, капитан! С двумя сумками не возвращаются из похищения! С ними переезжают!

Я стояла и прогоняла по цепочке.

Улика: сорок минут работающего двигателя и возвращение с двумя тяжёлыми сумками. Что это даёт: Виктор сел в машину сам, но его ждали; два дня спустя вернулся пешком, с вещами. Важность: с двумя сумками не возвращаются из похищения — с ними переезжают. Виктор не пропал. Виктор спрятался. Значит, на поверхности боялись не его отсутствия, а его возвращения. Проверка: газон не протокол. Нужен человек, который видел машину. Или — номер. Вывод: искать не тело, а канал снабжения. Действие: опросить соседей про белую машину и про то, кто носил Виктору еду.

— Трава, — сказала я. — Номер машины видела хоть одна из вас?

— Номера у нас не читаются! — трава оскорбилась. — Мы лежим! У нас ракурс снизу! Что ты с травы хочешь, капитан, — мы снизу видим только то, что снизу видно! Глушитель, колёса и совесть человека, если она у него волочится!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ, в которой тополь вспомнил сорок минут, но вспоминал через переводчика

В субботу мы поехали в Сосново вдвоём с Толей. Толя знал пивные так, как другие знают библиотеки, почитая их за храмы.

— Пивная на Сосновской — это культурный центр, — сказал он по дороге, держась за ручку «Оки», которая думала о жизни уже глубже мопеда. — Опрашивать людей лучше там, где они сыты. Голодный свидетель мнителен, сытый — словоохотлив.

— Толя, мы едем работать.

— Работать — это когда сыт.

В пивной Толя за полтора часа собрал больше, чем я за три дня: кто видел машину, кто не видел, кто видел, но «приличный человек, не будем», кто видел и не видел одновременно, что по пивной классификации значит «видел изнутри, спиной». Белая машина упоминалась четырежды. «Лёгкая, шумная, водитель некурящий» — водитель некурящий запомнили все, потому что курильщиков в Сосново каждый знает по кашлю.

Тополь, под которым Виктор стоял в ночь пропажи, рос напротив пивной. И вот тут мне понадобилась бабушка.

Я честно пыталась обойтись без неё. Подошла к тополю, постояла, поздоровалась — про себя, потому что вслух с деревом здороваться я уже научилась, но только когда рядом никого. Гул. Ровный, деревянный, ни слова. Я простояла десять минут. Гул. Я достала телефон и позвонила бабушке:

— Баб. Ты нужна в Сосново. Служебная необходимость.

— Служебная, — отозвалась бабушка с наслаждением, которого в слове «служебная» быть не должно. — Это ты мне говоришь или тополь?

— Тополь. Но тополь молчит, поэтому говорю я.

— Еду, — сказала бабушка. — Деда надо было брать, а дед в прошлом. Ну хоть с тобой покатаюсь. Мне, между прочим, семьдесят девять, а служебные командировки у меня теперь в возрастной группе не предусмотрены. Я в этой группе первая. И последняя. Как в списке строк, который сворачивают.

Через час бабушка стояла под тополем — платок, сумка, вид человека, который вышел за мёдом, а оказался на секретном объекте. Она положила ладонь на ствол — жест такой же домашний, как проверить щи, — и слушала. Я стояла сзади и смотрела, как бабушка слушает: с прищуром, как читают документ, в котором ждут подвоха.

— Ну? — нетерпеливо сказала я через две минуты.

— Тише, — сказала бабушка. — Дерево вспоминает. Ты не торопи профессора. У профессора сорок минут регламент, и это если у него хорошее настроение, а настроение у тополей всегда среднее, потому что под ними постоянно кто-то стоит и мечтает.

Бабушка слушала ещё двадцать минут. Потом отняла ладонь и сказала:

— Перевожу. Дословно, как понял тополь, а понял он, заметь, по-своему: он думает, что рассказывал нам про погоду. — Она поправила платок. — Итак. Человек выходил. Стоял под ним и опирался — «как опираются не на дерево, а на решение», это его формулировка, я сохраняю. Шёл не к дому — к старой дороге к шахте. Машина стояла напротив. Белая, лёгкая. Двигатель не глушила — «я чувствую тепло выхлопа, я стоял на нём сорок минут». Он повторил про сорок минут трижды. Тополя, видать, гордятся временем, когда им есть чем гордиться. Гость бы двигатель заглушил. А этот не глушил. Машина была ожиданием.

— Баб, а номер?

— Номер у тополя спросить можно, но он его не знает. Тополя не читают. У них, если тебе интересно, своя культура: они запоминают звук, вес и тень. Номер — это шум. Шум они записывают как шум. Но вот что он помнил точно: водитель вышел один раз, обошёл машину, что-то снял с колеса — «металлически звякнуло и покатилось по камешкам» — и положил в багажник. Потом ждал, облокотившись.

— Снял с колеса... — сказала я медленно. — Насадку на ниппель? Колпачок?

— Я не автомобильный специалист, я переводчик, — сказала бабушка с достоинством. — Спроси у своих. А тополь добавил, что человек был «не спешный и не весёлый», и что таких он запоминает охотнее всех, потому что на них интересно смотреть. Тополя, дочка, вообще любопытнее всей нашей улицы: у них высота, а с высоты видно всё, но сказать нечего, потому что спрашивают редко. Вот они и копят.

Улика: сорок минут работы двигателя (перевод тополя) и металлический предмет, снятый с колеса. Что это даёт: водитель ждал с включённым двигателем — значило, планировал уехать немедленно; колпачок или насадка — мелочь, но мелочь, которую берут в руки, когда ждут и нервничают. Важность: показание получено через переводчика и относится к классу «слышал о погоде». Проверять руками и у людей. Проверка: «водитель некурящий» из пивной плюс «снял что-то с колеса» — по этим двум приметам искать машину по гаражам и приёмкам. Вывод: машина не случайная. Она ходила на Сосново регулярно — Толя уже собрал четыре упоминания за месяц. Действие: спросить траву про медь и кирпичную пыль — она обещала когда-то рассказать про обочину и осадок.

А на обратном пути трава и рассказала — но по-травиному: сбивчиво, с отступлениями и с попыткой увильнуть от главного.

— Медь! — кричала она. — Кирпичная пыль! Белая машина ездит по нашей обочине раз в неделю! Я чувствую осадок — пыль оседает на меня, я ей не рада, я после кирпичной пыли чешусь неделю! В ту ночь в багажнике пахло медью — а медь через брезент не пахнет! Значит, брезент дырявый! Или багажник открытый! Или... или у них совесть дырявая! И потом, через два дня, он шёл пешком! С сумками! Шёл к шахте! И за ним потом машина приезжала ещё дважды — в пятницу и в понедельник! Двигатель глушится, когда приезжаешь сторожить! Не глушится, когда везёшь человека! Я фразу запомнила, потому что она рифмуется: глушится-везёшь, сторожишь-глушишь... нет... погоди...

— Трава. Достаточно. Рифмовать не обязательно.

— Обязательно! — трава не хотела отпускать. — У меня была заготовка! Год готовила! С тех пор, как мимо ходил учитель словесности и говорил, что у обочины нет будущего! Будущее у обочины есть! Это рифма!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, в которой бабушка пошла к шахте, а ольха сказала про замок главное

К шахте я собиралась в воскресенье, одна — и бабушка объявила, что идёт со мной.

— Баб, тебе туда нельзя. Обрушения.

— Мне в сорок третьем нельзя было под бомбёжку, — сказала бабушка, завязывая платок, — а я сходила за водой. И за картошкой. Обрушение — это когда стены падают. А у меня, дочка, падали вещи посолиднее: дом один раз. Стены шахты рядом с домом не стояли.

Ольха на склоне — ей лет семьдесят, и, по словам бабушки, она «считает себя старше Прохора, потому что корни в воде, а вода старше суши», — отвечала не сразу: сначала, по переводу бабушки, «проверяла, не манер ли я».

— Манер, — пояснила бабушка, — это когда к дереву подходят с запросом. Деревья манер не любят. К дереву надо подходить, как к соседке через забор: сначала постоять, потом сказать что-нибудь о погоде, потом уже — о деле. Я постояла и сказала про погоду. Она про погоду отчиталась за сорок лет. Я выслушала. Вежливость — это работа.

А потом бабушка замолчала надолго. Минут на десять. Я ходила вокруг, изучала сетку на прогаре и чувствовала себя человеком, который стоит за спиной у переводчика на переговорах по разоружению.

— Ну? — сказала я наконец.

— Сейчас, — сказала бабушка не отрываясь. — Она вошла в подробности. Ольха подробная. Она у нас не мемуаристка и не хроника — она протокол. Всё, что видела, — по пунктам. Пункт первый: заходил. Через прогар, где сетка порвана. Рвал сам, неумело. С той поры ходит. Пункт второй: печку поставил, дым идёт в вентиляционную трубу, тонкий — экономит. «Человек, который экономит дрова, не собирается умирать: у умирающих дров много». Пункт третий, и вот тут слушай, дочка.

Бабушка присела на пень — жест, которым у нас в семье объявляли наследство.

— Вход у него закрыт изнутри. Он закрыл. А снаружи на двери навесной. И навесной висит открытым. Кто-то снаружи снимает его, когда приходит, и вешает, когда уходит. Охотник запирает навесной и уносит ключ. А этот — «вешается, когда уходят, и снимается, когда приходят». Её формулировка. Это не тюрьма, капитан. Это почта.

Я переводила на следственный язык. Виктор жив, спрятался сам, без принуждения. Кто-то его кормит — и этот кто-то не похититель, а связной. Медь и кирпичная пыль — не еда. Медь — это деньги: гильзы, трубы, тормозные диски сдают в приёмку. Значит, сообщник собирает медь, чтобы кормить Виктора. И имя сообщника все в деревне знали: Саня, по прозвищу Гвоздь, сварщик, гараж на краю Сосново.

— Баб, а откуда ольха знает, что он живой? Она же снаружи стоит.

— Ольха слышит сквозь землю, — сказала бабушка, как говорят вещи, которые знать не обязательно, но интересно. — Корни в грунтовых водах. По воде стучит — она слышит: топает, ходит, дрова колет. Она сказала: «Живой. И он разговаривает с бумагами. Слышно по шагам — он ходит от стола к полке и обратно, как человек, который читает вслух и спорит».

Уже в машине я записала:

Улика: навесной замок, который снимают и вешают, и стук шагов по грунтовым водам. Что это даёт: Виктор жив, прячется добровольно, у него есть связной с ключом. Важность: замок — это не запор, это почтовый ящик. Тот, кто его открывает, знает, что Виктор жив, и знает, что нам это может стать известно. Значит, связной не глупый — он выстраивает каналы. Проверка: гараж Гвоздя. Белая машина. Ведомости. Вывод: искать не тело, а канал снабжения. И тот, кто по нему ходит. Действие: гараж — в понедельник, с понятыми и Барабановым.

Бабушка шла рядом и вдруг сказала:

— Дочка. Один момент меня беспокоит. И не мне бы беспокоиться, а тебе.

— Какой?

— Ольха сказала не всё. Она умная старуха, ольха, — а умные старухи недоговаривают. Она сказала про замок и про шаги. А между этими двумя пунктами в её перечислении была пауза. Я такую паузу узнаю: так паузу делают, когда между пунктами лежит то, о чём вслух говорить не хочется. Я не стала допытываться: ольху допытывать — себе дороже, она тогда замолчит на месяц, а месяц с ольхой не поговоришь, там у неё принципы.

— А что может лежать между замком и шагами?

— А вот это и есть твой вопрос, дочка. Я тебе паузу указала. А что в паузе — это уже не перевод. Это следствие.

И я запомнила эту паузу. Через четыре дня она мне пригодится — но об этом позже.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, в которой гараж оказался почтамтом, а ведомость — письмом

Обыск гаража мы оформляли в понедельник — с Барабановым и понятыми, потому что понятых в деревне найти труднее, чем свидетелей: все заняты, а если не заняты — то боятся. Барабанов находил понятых так, как разводят голубей: свистнул — и двое пришли. «Кум и его свояк, — пояснил он. — Кум во всём уже участвовал раз шесть, свояк трижды. У них уже выработан иммунитет: подписывают не читая, но с достоинством».

Внутри — верстак, сварочный аппарат, жестянка с гвоздями (прозвище оправдывалось: гвоздей было три ящика, рассортированных по размерам, — у Сани всё в жизни было рассортировано, кроме поступков), белая машина в углу. В багажнике — сумка с инструментами, пакет с продуктами: тушёнка, галеты, чай, свечки. И папка. Жёлтая, с надписью «Сосновская овощебаза. Ведомости».

На первой странице — приёмка. А на полях, чужим аккуратным почерком: «Свернуть по линии 14. Остаток 640».

— Толя, ты в жизни держал ведомость?

— Держал. В кафе. Там тоже были цифры.

— А что тут написано?

Толя посмотрел и сказал:

— Это не ведомость. Это письмо. В ведомости пишут «приход» и «расход». А тут пишут «свернуть». «Свернуть» — это закончить. А «по линии 14» — это участок учёта. Кто-то велел прекратить учёт по четырнадцатой линии. И «остаток 640» — это то, что должно было исчезнуть вместе с учётом.

Улика: приписка на полях ведомости. Что это даёт: приказ, замаскированный под учёт. Важность: Виктор, кладовщик, нашёл в своих ведомостях пометку чужой рукой — и понял, что «свернуть» относится не к товару, а к людям, которые знают про линию 14. Поэтому он и спрятался. Проверка: чей почерк. Спросить Саню и Виктора, у кого в ведомостях появляется эта рука. Вывод: за пометкой стоит человек, который управляет учётом, — тот самый «куратор». Действие: взять Саню — он объяснит, куда ездил на белой машине.

Двери гаража в этот момент открылись, и вошёл Саня Гвоздь — рослый, в спецовке, с лицом человека, который спал слишком мало. Он посмотрел на нас, на машину, на папку — и сел на верстак.

— Всё равно найдёте. Я думал, у меня будет время. А он не выходит. Он сидит и боится. А я не умею разговаривать. У меня гвозди. Гвозди не разговаривают.

— Вы держите его в шахте? — спросил Черкасов.

— Я его кормлю! — Саня воскликнул с обидой. — Он мне сказал: «Саня, я нашёл в ведомостях то, чего не должен был находить. Мне надо спрятаться, пока я не расскажу». Я думал: пусть спрячется, я покормлю, он уйдёт. А он не уходит. Он сидит с бумагами, как с иконой, и молится им. Он говорит: «Пока не будет правды — нет». А за бумагами приходит та, кто их потеряла.

— А кто «она»?

— Не скажу. Скажу одно: она звучит ровно. Она по телефонам называет цифры. И когда она называет цифры, всем становится холодно.

И я вспомнила: ровный голос, «как счёт в магазине», — это говорила сирень про ночной разговор у забора. Только сирень, напомню, не говорила — сирень молчала, а молчание переводила бабушка. Получалось, что «ровный голос» в этом деле имели в виду трое: Саня, бабушкина сирень и, как я подозревала уже тогда, — кто-то ещё, о ком мы не знали.

Саню допрашивали в гараже, на месте, — потому что Барабанов справедливо заметил: «Саню из гаража вынимать — это как черепаху из панциря: ползать он будет, но уже неуверенно».

Саня рассказывал мучительно. Не потому что скрывал — потому что не умел говорить. Он произносил фразы по три слова, между ними стояли паузы длиной в приговор. Я сидела и понимала: передо мной человек, который всю жизнь разговаривал с гвоздями, и гвозди его не перебивали, не переспрашивали и не требовали объяснений. А теперь его спрашивали, и он тонул.

Вытащил его Толя. Тонул Толя из воды оперативно — с котелком.

— Саня, — сказал он. — Ты тушёнку ему какую давал? Обычную или в собственном соку?

— Обычную. Он толстую не любит. Говорит — жирно для человека, который прячется.

— А чай?

— Чай. Две ложки. Он сладкого не пьёт много — говорит, что сытость расслабляет, а расслабленному всё равно, что подписывать.

— Правильный мужик, — одобрительно сказал Толя. — Режим питания при укрытии я оцениваю на пять с плюсом. Это, между нами, говорит о лучшей подготовке, чем у нас в отделе.

И Саня потеплел. Люди вообще теплеют, когда их сначала оценивают, а потом допрашивают: оценка — это признание существования, а существование надо признать раньше, чем спрашивать о нём. Толя знал это телом, а я знала это по протоколу. У Толи методика была лучше.

На четвёртой чашке Саня рассказал всё: как Виктор пришёл к нему четыре года назад — с ведомостью и лицом человека, который нашёл в собственном доме чужой тайник. Как Виктор сказал: «Меня поставят в строку, где числа не сходятся. А я человек, у которого всё сходится». Как Саня предложил гараж. Как Виктор ответил: «В гараже меня найдут за неделю». И как потом, уже через год, сам придумал шахту.

— А кто такая «она»?

— Не скажу, — повторил Саня. — Не потому что боюсь. Потому что не знаю имени. Я её слышал один раз — в трубке. Она сказала две фразы. Первая: «Продукт не человек». Вторая: «Отчёт в пятницу». И всё. Мне потом неделю снилось, как у меня в гараже всё пересчитано. Каждый гвоздь пересчитан. Каждый. Я потом пересчитал сам, чтобы проверить. Сошлось. Понимаете? У меня в собственном гараже сошлось на единицу. Кому после этого спать?

По дороге домой, уже в темноте, трава заговорила со мной из придорожной канавы — я, разумеется, не собиралась её слушать, но трава не собиралась и спрашивать:

— Капитан! Слушай! Важное! У гаража Гвоздя! Входила белая машина четырежды за месяц! Четырежды! Я считала, у меня улица не даёт врать в счёте — машина колею давит, колея не сотрёшь, она у нас с осокой общая, осока по колее дежурит, мы сменяемся! Четыре заезда! А выезжала — три! Одна машина в гараже ночует! Понимаешь, что это значит?!

— Это значит, что мы и так знаем, где машина. Она в гараже.

— Нет! — трава задыхалась от собственного открытия. — Это значит, что я дала показание на четыре дня раньше твоего обыска! Четыре дня! Внеси в реестр: «трава опередила следствие». Гонорар!

— Гонорар за опережение не положен.

— Как не положен! Опережение — это высшая категория! Мимо меня каждый день юристы ходят, я у них права слышала! Опередивший следствие имеет право на пониженную ставку! На пониженную, а не на нулевую!

— Трава. Ты опередила следствие потому, что лежала в канаве, а мы работали.

— Лежать в канаве — это тоже работа! — трава не сдавалась. — Тебе государство платит за то, что ты стоишь на месте! А я стою с весны! И кто из нас эффективнее?!

Я записала в реестр с пометкой «с оговоркой»: «Трава зафиксировала четыре заезда белой машины в гараж Гвоздя за месяц. Показание по колее, проверено осокой». И отдельно, от руки, пометку, которую потом переписала начисто: «Трава начинает переходить от вранья к фактам. Следить».

Бабушка, когда я зачитала ей реестр за ужином, подумала и сказала:

— Дочка. Это плохой знак.

— В каком смысле?

— В прямом. Трава врёт, потому что врёт легко и весело. А когда трава начинает работать фактами — значит, ей страшно. Страх — это когда перестаёшь играть. Тебе, дочка, надо выяснить, чего она испугалась. Скорее всего — той машины. Или того, кто в ней ездит.

— Баб, а трава вообще боится людей?

— Трава боится не людей. Трава боится колёс. — Бабушка закрыла реестр и пододвинула мне чай. — Человек может пройти по траве — и она скажет «ну и ладно, я зато узнала». А колёса просят не «узнать», а «отпустить». Трава, которая начала считать колёса, — это трава, которая считает, сколько ей осталось.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, в которой Марго приехала с коньяком и диагнозом для всего района

Марго — Маргарита Кирилловна, психиатр городской поликлиники, тридцать девять лет, подруга с университетских лет — приехала во вторник, на автобусе, с чемоданом, в котором был один костюм, две книги и бутылка коньяка «по рецепту». Рецепт она выписала себе сама.

— Настя. Я должна сказать тебе кое-что важное.

— Сначала я должна тебе сказать одну вещь. Садись. Ешь щи. Потом говори.

— Я не на обеде, я по делу.

— Ты у бабушки. Здесь дело — это обед. Порядок такой: сначала щи, потом сердце, потом всё остальное. Бабушка работает не протоколом, а щами, и я тебе скажу, что её методика чуть продуктивнее моей.

Марго поела щей. Оценила. Спросила рецепт. Бабушка сказала, что рецепт не даётся, а передаётся, и что за рецепт ей нужны три правнучки и время. Марго сказала, что правнучки не предусмотрены её графиком, а время в целом под вопросом. Переговоры закончились ничем, но обе стороны остались довольны, что уже было результатом.

А потом Марго отставила тарелку и сказала:

— У меня в поликлинике был пациент из Сосново. Два года назад. Он говорил: «Я нашёл в ведомостях то, чего не должно быть». Я сказала ему: «Иди к следователю». А он сказал: «Нельзя. У меня семья». И ушёл. И я его больше не видела.

— Виктор? — спросила я с холодом.

— Виктор Ильич. И вот что важно: он разговаривал со мной, но не со мной. С воображаемым лицом, которое его давило. И сказал: «Она не остановится, пока не возьмёт всё. А я не отдам всё, потому что если отдам — она всё спишет, и я буду в этом участвовать». Он защищал не базу, Настя. Он защищал себя. Он лучше уйдёт в шахту, но не отдаст.

— Он не умрёт.

— Я знаю. Но он думает, что умрёт. А потому тебе придётся не только найти его. Тебе придётся убедить его, что выходить — безопасно. И что виноват не он. А это сложнее, чем расследовать дело с медью.

— Марго, — сказала я. — А ты вломишься в его психику со своим коньяком и диагнозом?

— Я не буду вламываться. Я попрошу разрешения. — Марго отпила коньяку — маленьким глотком, как пьют люди, которые этот коньяк выписали себе сами и потому знают ему цену. — Я психиатр, Настя. У меня вопрос к каждому моему пациенту: «Что тебе не даёт жить?» И я не ухожу, пока не получу ответ. У Виктора Ильича мне этого ответа тогда не достали — он ушёл, а теперь ты его достанешь. Только знай: он не безумный. Он страшно нормальный. Это, кстати, диагноз по-настоящему тяжёлый. Безумных спасает безумие, а нормальных спасает только правда. Если им не хватает правды — им нечего терять.

Вечером, когда Марго уехала обратно на автобусе («последний в семь, а автобус — это не транспорт, а дедлайн на колёсах»), во двор пришёл Дёмин — со сложенным листом и с лицом человека, который выиграл, но не рад.

— Я собрал список игроков тех же партий, где сидел Кузьмин. И увидел одного не в пивной, а на заправке — у машины. Не играл, а только передавал конверты. И я поставил ставку: «Куратор — женщина». И выиграл. Первый раз за пять лет.

— И кто?

— Галина Даниловна. Директор овощебазы «Сосновская». Ровный голос, «ты должен», «свернуть по линии». Я всё это слышал в тех кругах, где все слушают.

— Дёмин, а ты больше не ставишь?

— Не ставлю. На такое ставить нельзя. На такое надо отвечать.

И тут во двор вошла бабушка. Вошла не спеша, с сумкой, в которой было молоко, — и, проходя мимо нас, сказала Дёмину без всякого перехода:

— Молодой человек. Ставку вы сделали, а вопрос не задали.

— Какой? — удивился Дёмин.

— А такой: если Галина Даниловна — куратор, то кто куратор у неё? — Бабушка поставила сумку на лавку и посмотрела на нас обоих — так смотрят на следственную группу, у которой всё сошлось, а итог красивый и потому подозрительный. — В вашем следствии всегда так: нашли куратора — и рады. А куратор — это тот, кто курит чужую работу. У куратора всегда есть тот, чью работу курит он. Дочка, спроси у своих: чей это вопрос?

— Баб, а у тебя откуда это?

— У меня сорок лет соседи. — Бабушка переложила молоко в холодильник, будто этим закрыла тему. — А соседи, если им дать свободу, отвечают на вопросы, которые ты не задал. Я сегодня у Тотьяновой была — молоко меняла на сметану. Тотьянова говорит: «А у нас на базе проверка была». Я спрашиваю: «Когда?» Она: «В среду». Я: «Кто?» Она: «Пришёл человек с папкой. Спокойный. Сказал: «Проверяем соответствие»». Так вот, дочка. Галину Даниловну в среду проверяли. За два дня до того, как её взяли. Пришёл человек с папкой. Спокойный. Сказал: «Проверяем соответствие».

Я молчала, потому что поняла. Галину Даниловну взяли в пятницу. А проверка была в среду. Между средой и пятницей — сорок восемь часов. За сорок восемь часов какой-то человек с папкой пришёл, проверил «соответствие» и — ушёл. И через два дня Галина оказалась в СИЗО.

Совпадение? Возможно. Но следователь, который дважды допускает совпадение в одном деле, — это следователь, у которого скоро не останется дел. Я эту мысль записывала раньше про Кешу. Теперь записывала про проверку.

Улика: проверка «соответствия» за два дня до задержания Галины. Что это даёт: тот, кто проверял, знал о предстоящем задержании. Важность: проверяющий не случайный человек. Случайные проверки идут по графику, а не за два дня до задержания. Проверка — это либо подготовка задержания, либо его страховка. Проверка: кто приходил с папкой в среду. Спокойный. С фразой «проверяем соответствие». Вывод: у Галины Даниловны есть тот, кто её сдал. И этот кто-то сделал это тихо, с папкой и формулировкой. Действие: искать проверку в документах. Если она не приписана ни одному ведомству — это не проверка. Это зачистка.

— Баб, — сказала я тихо, — а Тотьянова описала его?

— Тотьянова описала его, как описывают бабушки. «Обычный такой, приличный. Пальто тёмное. Папка чёрная». — Бабушка посмотрела на меня с тем выражением, с которым мы в семье сообщали друг другу плохие новости. — Вся деревня, дочка, помнит этого человека по пальто. А из всего пальто следствию надо одно: оно тёмное. Всё остальное — приличное. А приличных в этом районе — как гвоздей у Саньки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.